

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

О книге мемуаров
Николая Долгополова

Хотел сначала назвать свои заметки «Энциклопедия советской жизни». По аналогии с известной фразой В. Г. Белинского о «Евгении Онегине» — «энциклопедия русской жизни». А в новой книге знаменитого писателя и поистине легендарного журналиста Николая Долгополова жизнь в основном советская. Но что-то в таком названии мне не нравится. Почему именно *советской* жизни? Просто *нашей* жизни. Нашей жизни в XX веке.

Удивительная книга! В ней столько великих и просто известных в нашей стране и в мире имен, что иногда при ее чтении начинает кружиться голова. О каждом из этих людей уже написаны отдельные книги и порой не одна. А Николай Долгополов бросает эти имена какой-то жемчужной россыпью, так, что не успеваешь следить. Вот только что речь шла о Маяковском... и уже Булгаков... и уже Эрдман... и Шостакович... и Лиля Брик... и Александров... и Орлова... и Русланова... Так и хочется добавить: и другие — но разве можно о людях такого калибра говорить «и другие»?

И это только в главе, посвященной отцу, знаменитому журналисту Михаилу Долгополову, чье имя неразрывно связано с «Комсомолкой» и «Известиями». В театры на самые громкие премьеры, куда билета нельзя было достать, он приходил со своим сыном, даже не задумываясь о каких-то билетах — его и так все в театрах знали в лицо, перед

ним трепетали, его рецензии решали судьбу не одной постановки. И поневоле вздыхаешь: вот же было время! Вот был вес у журналистики! Не то что сейчас...

А он был еще и военным журналистом в годы Великой Отечественной войны и был, как сейчас сказали бы, в «пуле» избранных корреспондентов газет, которые освещали Нюрнбергский процесс... И дружил с теми, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом...

Всего не перескажешь. Нужно книгу читать.

И это только детство Николая Долгополова, когда он, благодаря отцу, сам встречался с великими людьми, слушал рассказы отца о них. И напивался, напивался нашей историей непосредственно в ее лицах.

А потом была своя судьба журналиста, тоже связанного с «Комсомолкой» и, конечно, с «Российской газетой», главной газетой страны сегодня, в которой он с 2007 года является заместителем главного редактора.

Журналист-международник, один из ведущих спортивных обозревателей, кажется, знающий о спорте и спортсменах все. Но еще был Чернобыль, куда его вместе с небольшой группой корреспондентов отправил идеолог нашей «перестройки» Александр Яковлев, не удосужившись объяснить, чем будет чревата эта «командировка», но дав задание: описать героизм ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Эти страницы книги Долгополова невозможно читать без слез и содрогания перед нашей уже вроде бы давней, но совсем не минувшей национальной, государственной и просто человеческой БЕДОЙ. И опять — все это показано в лицах, только, увы, никому уже не известных, многих из которых уже просто нет в живых, а люди-то были совсем молодые, даже юные...

И еще рассказы о разведчиках... Николай Долгополов прославился как автор нескольких книг о них, вышедших в серии «ЖЗЛ».

И спортсмены...

И цирк с его главными артистами — Олегом Поповым, Карандашом, Эмилем и Игорем Кио, Юрием Никулиным...

А вот и Владимир Максимов, суровый «диссидент», редактор «Континента», разочарованный в «перестройке», — ведь целили в коммунизм, а попали в Россию.

И наконец — Марфа Максимовна Пешкова, внучка Горького.

Всех не перечислишь! Я же говорю — энциклопедия! Нашей жизни. Которую он знает, может быть, как никто в его поколении. Так счастливо сложилась его судьба. Очень редкая судьба.

Он должен был эту книгу написать. Есть книги, которые, кроме тебя, никто не сможет написать. Он сделал это.

*Павел БАСИНСКИЙ,
писатель, журналист*

БЕЗ ПРЕДИСЛОВИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ

В последнее время я все чаще пытаюсь разобрать накопившиеся за полвека архивы. Понимаю — это признак надвинувшейся старости. Пытаюсь выкинуть отжившее, бесполезное. Выходит плохо. Кажется, еще вернусь к этому герою, еще расскажу о той встрече. Хотя и сам знаю, что вряд ли. Бумажные залежи, в которых столько всего интересного, однако только для меня, никому не нужны.

И вот книга.

О которой опытные люди, не знаю, чего там в издательском деле съевшие, говорили: не надо. У вас есть своя ниша и даже свой читатель. Здорово идут у вас рассказы о разведчиках: шесть книг не где-нибудь, а в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», и пять из них — бестселлеры. Вот и давайте о них, вылавливайте всех шпионов до последнего. И, мне это выражение вообще не нравится, — «пеките свои книги как горячие пирожки».

Каждый журналист, и не только ставший писателем или думающий о себе именно так, мечтает о некоем подведении итогов. Но то, что кажется дорогим, близким, иногда переходит даже границы общепринятой откровенности и выглядит (но только для тебя — себялюбца) сенсацией, других абсолютно не волнует, не трогает, не задевает. «Угробите год жизни... И что? Выпустите книгу для ста, пусть двухсот—трехсот друзей Долгополова».

У меня столько тепер не наберется. И мои друзья немолоды, многие уже не выходят из дома, некоторые ушли

навсегда, разъехавшись по кладбищам близких и далеких стран. К тому же не собираюсь раскрывать никаких секретов, выдавать больших тайн. Во-первых, их нет у меня. Во-вторых, если бы и нашлись, расставаться с ними не собираюсь, пусть мирно спят вместе с хозяином в наследном пристанище.

Как-то знаменитая тренер фигуристов Елена Анатольевна Чайковская пошутила: «Не дай Бог, если бы ты взял да и рассказал все, что знаешь о фигурном катании...» А я знаю и много другого, не фигурного, гораздо более важного. Но никогда не расскажу. Тут вопрос этики, морали, иногда безопасности. Не мое это — взять и выложить. Есть несколько записей, которые точно уйдут вместе со мной. Не умирает это советское, с молоком впитанное «а вдруг». Хотя людей, в блокнотах моих след оставивших, знаю точно, несмотря на расстояния, уже давно нет. Так пусть все останется как есть, унесу недосказанное с собой.

Что вовсе не значит, будто нельзя попытаться честно написать небольшое свидетельство о нравах двух веков. Жил на перепутье и дождался. Помню еще похороны Сталина, снятие Хрущева, восшествие и долгое царствование Брежнева, надежды на оказавшийся скоротечным приход Андропова. И перестройка, Горбачев и вдруг страшный Ельцин, чуть не превративший великую страну в разношерстные княжества, зато под своим ельцинским игом. И — не только же вечно страдать России — долгожданное явление нового лидера.

Сколько пережито, как много испытано страной, а значит, и мною. Проклятый майский Чернобыль 1986 года, глаза на жизнь и смерть мне открывший. И немыслимое количество встреч с людьми, будоражившими умы. Наши и иностранные политические персонажи, герои разведки и великие, почти всегда вечные, творцы искусства. Чемпионы спорта, на короткое время в относительно длинной нашей жизни появляющиеся и почти бесследно исчезающие.

С некоторыми я дружил, иных отвергал за бьющую через край самовлюбленность, порочность, эгоизм. Но они были так талантливы, порой гениальны, что десятилетия стерли и спокойно смыли все недоброе, оставив лишь ува-

жение. И воспоминания, отрывки из которых здесь, в этой книге.

А еще мне везло в тот период, когда поездка не то что в Болгарию, а даже в Литву с ее Тракаем и Каунасом или в Таллин, теперь кажущиеся, да и являющиеся, убогой провинцией, к тому же кичливой, была счастьем. Я же побывал где только можно. До недавних пор вел счет государствам, где ступала и моя нога. Когда набралась сотня, подсчеты закончил.

Да и сколько можно считать. Пять с лишним лет, как раз на сломе политических формаций в 1987—1992 годах, был собственным корреспондентом могучей тогда «Комсомольской правды» в Париже. До этого в молодости случились два с половиной года совсем не в таком, как сейчас, Иране. А после выигрыша стипендии — учеба в Великобритании, точнее в Шотландии, и работа в «желтой», немало в творческом плане давшей, газете «Дейли рекорд».

Как журналисту мне порой неправдоподобно везло. Иногда я, счастливец, попадал туда, куда коллегам вход был категорически запрещен. Встречал знакомых, которые проводили меня сквозь кордоны запретов и доводили прямехонько до первый раз в жизни дававшего интервью собеседника. Прославленные разведчики, Герои Советского Союза и России Вартаняны, Феклисов, Барковский, Козлов, нелегалы Икс и Игрек... Или натыкался при входе в зал на человека, который (которая) представлял меня знаменитейшему российскому или иностранному персонажу. Вдруг после, наверное, сотни документальных фильмов, где выступал экспертом, сценаристом или консультантом, без всяких проб получил главную роль величайшего разведчика XX века Кима Филби в двухсерийной документальной драме на Первом канале. Как вышло? Так. Сам не знаю.

Мне завидовали. Сначала переносил это тяжело, затем привык. Сейчас снова переживаю. Но никогда не откажу себе в чести познакомиться, прорваться, узнать первым. Везунчик...

Везунчик? Но я вынужден был уйти из любимой «Комсомолки». Мы с ней отдали друг другу почти четверть века нашей с нею счастливой и тревожной жизни. Она, основан-

ная и моим отцом, была для меня всем, пусть в ущерб семье и творчеству. Теперь я вижу, что чересчур перебарщивал в этом обожании. А тогда, в октябре 1997-го, уже вкалывая в «Труде», еще с полгода носил в левом внутреннем кармане пиджака, да что там говорить, на сердце, удостоверение, где значился первым заместителем главного редактора. Сегодня понятно: зря. Но тогда была боль невероятная. И с годами пришлось ее преодолеть. Хотел бы вообще о ней забыть, но пойдй попробуй. Выяснилось: оказался нужным и в «Российской газете», в которой завершаю свой долгий путь в жизни, он же путь в журналистике. Не ожидал, что этот период благодаря гению человеческого общения и по совместительству главному редактору «РГ» Владиславу Фронину станет таким плодотворным, творчески счастливым.

В книге можно о многом поведать, не выставляя рассказ курьезом. Не превращая собственные итоги в сборник ба-сен и побасенок. Обещаю быть откровенным — в меру. И честным — до конца.

И потом, мне хочется верить, что друзей у меня много. Это вы, мои дорогие читатели. Я вас многих помню в лицо, как, например, маленькую девочку, которая раньше всегда приходила на встречи в большие книжные магазины и на ярмарки. Сначала всегда сидела с мамой в первом ряду, болтая не достающими до пола ножками. Потом выросла, но, как и прежде, терпеливо слушала, записывала. Где она? Книга эта и для нее. Или всегда сидящего в глубине зала хорошо одетого седого человека в галстуке. Он задавал толковые вопросы, покупал мои томики. И в конце дарил марки, на которых — портреты бородатого Че Гевары.

Частенько звонят добровольные помощники. Они интересуются историей, собирают и передают материалы. Без них не родиться книгам. Бывает, приезжают за автографами в «Российскую газету» читатели. Мы беседуем, фотографируемся, знакомимся поближе. С опозданием отвечаю на письма из других городов, куда книги и сегодня добираются с трудом.

Не забуду Саранск: предновогодний декабрь, холод до стука зубов, снегопад, позднее возвращение в отель. В холле ждут двое незнакомцев с моими книжками. Выписали

по Интернету, вот узнали, вы здесь, подпишите. Разве это не называется писательским счастьем?

Как я могу обмануть вас? Очень старался. Что получилось, оценивать не рецензентам, а тем, кто возьмет, купит, прочтет.

Искренне ваш,
Николай Долгополов

P. S.

До чего же скучно, муторно было мне в агентстве печати «Новости», в которое пристроился с помощью моей преподавательницы из Иняза Ирины Александровны Носовой. Все равно лучше, чем переводчиком.

Бесполезная работа по зашкаливавшему восхвалению страны. Сплошные дети и детки людей с громкими фамилиями. Иногда АПН жаловала своим появлением даже дочь генсека Галина Брежнева, за которой всегда следовала толпа прихлебателей.

Тоска — неимоверная. Профессиональное ничегонеделание. Длиннющие перекуры в коридорах с обсуждением, кто куда может поехать и какой пост займет, вернувшись оттуда.

И когда мне предложили попробовать написать статью в настоящую газету под названием «Комсомольская правда», я ухватился за предложение как утопающий за соломинку.

Статья моя была по-апээновски бездарна. Но и сейчас мне читать ее не стыдно. Написал, как умел, как учили, как требовалось. Ни единого живого слова. Но эта заметка стала первой. Она — как пробитая брешь в плотной, враждебной обороне, как шанс на побег из крошечной журналистской жути. Милая моя ласточка, вырвавшаяся на широкий читательский простор.

С гордостью привожу ее заштампованную и неуклюжую, опубликованную в «Комсомольской правде» 25 ноября 1973 года без единой поправки. Надо же было с чего-то начинать, и я начал:

«Это и есть дружба

Индийско-советское общество культурных связей недавно отметило свое двадцатилетие. У него около 1000 отделений по всей Индии. В течение многих лет его работой

руководит известный государственный и общественный деятель К. П. Ш. Менон, гостивший на днях в Москве.

Несмотря на занятость, г-н Менон любезно согласился встретиться с корреспондентом "Комсомольской правды".

— До 1962 года я девять лет был послом Республики Индии в СССР, — говорит г-н Менон, — и, может быть, поэтому каждое мое возвращение в Москву для меня как бы возвращение домой. Не считал, сколько раз был в СССР после 1962 года, наверное, раз десять, а то и больше. Был свидетелем многих важнейших событий в вашей стране. Я имел честь участвовать в празднествах, посвященных 50-летию Великого Октября, 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, совсем недавно был на Всемирном конгрессе миролюбивых сил.

Мне, сами понимаете, трудно говорить от имени индийской молодежи, ибо я уже давно немолод, но лично я восхищаюсь усилиями советских юношей и девушек в их борьбе за мир и свободу. У меня много друзей среди советских комсомольцев, особенно в 26-й московской школе, где я бывал несколько раз в музее Р. Тагора.

— Вы даже представить себе не можете, — говорит г-н Менон, — с каким нетерпением ожидают у нас в Индии визита Л. И. Брежнева, руководителя великой державы, всегда приходившей на помощь индийскому народу. Визит Л. И. Брежнева будет способствовать дальнейшему укреплению индийско-советской дружбы.

В заключение наш гость просит передать привет и наилучшие пожелания советской молодежи, читателям "Комсомольской правды"».

КОРНИ

Специальный корреспондент

Я не знаю ни единого журналиста, который гордился бы этим званием так, как мой отец.

Михаил Николаевич Долгополов — Мих. Долгополов — работал в «Комсомолке» с 1927-го по 1938-й, а потом до самого ухода в 1977-м в «Известиях». Страшно подумать, но когда в 1935-м «КП» выпустила полосу, посвященную первому своему десятилетию, папа уже официально значился среди ветеранов-основателей. Может, нормальная журналистика и не дала дуба благодаря именно тому, что вопреки всему держится на традициях, которые закладывались еще в 1930-х?

Это с того времени нахальное: «Мы, из "Комсомольской правды", — первые, мы — лучшие, мы — самые-самые». Тогда «Комсомолка» была притягательным центром: Маяковский, Уткин, Алтаузен, Светлов, Безыменский, Жаров работали здесь в штате и вне его. И все вкалывали будто проклятые, чтобы сказать Слово, которое всегда доходило до умов и сердец. Была в этих ребятах дикая вера. Они еще не ведали, что ошибались, и потому гордо вели за собою. И теперь — им никто не судья.

Невероятный вихрь, который мог подняться лишь в ту революционную смуту, закрутил и отца, подбросил немислимым изломом судьбы к армейским вершинам. У нас дома мыкались по сундукам буденовка со звездой и солдатский ремень: красноармеец 1-го стрелкового полка Долгополов за три года сделал, как сегодня бы сказали, фантастиче-

скую карьеру. Пошел в армию — Красную — добровольцем. Я, признаться, могу оценить порыв сына лишенца. Но понять, зачем так решительно перевернул судьбу, — нет, пусть уж останется при нем, совсем это не из нашей семейной оперы.

Даже не стану упоминать имя полководца Гражданской войны, под начало которого попал молодой боец. Для меня этот вскоре убитый чуть не своими же герой — олицетворение безудержной смуты, прокатившейся по России. Но служил же отец, служил.

К концу 1923-го он был уже начотдела по учету бронемашин и танков Управления бронесил РККА. Носил сколько-то «шпал» и занимал должность, соответствующую генеральской. Есть фотография, на которой отец стоит на Красной площади при всей форме неподалеку от возвышающихся — чистая правда! — на машине (мавзолея, естественно, еще не построили) Калинина, Буденного и, извините, Троцкого.

Видимо, поэтому в знак военных красноармейских заслуг ему, сыну не тех, оказали невиданную милость: предложили вступить в партию и учиться в военной академии. Учиться хотелось, ведь позади были Московская гимназия и лишь три курса Плехановского, из которого выгнали за буржуйское происхождение. А вот в партию — нет, не тянуло.

Из всего нашего долгополовского клана, здорово выбитого матросом Кузьмой в начале 1920-х и затем негодяем Гитлером, этот негласный семейный запрет примыкания к партии нарушил один я. Был с детства идейным, верил, стремился. Конечная цель меня воодушевляла. Наградой явились беспрерывные даже в застойные времена передвижения по миру в качестве специального корреспондента «Комсомолки» и пять с лишним лет собкорства во Франции.

Отец же так и остался стопроцентно беспартийным. Даже став журналистом, к тому же — сотрудником отдела литературы, он не вступил в очерченный привилегиями и обязанностями круг. В затянувшуюся эпоху соцреализма это выглядело невероятной аномалией.

Когда в начале второй половины 1920-х посадили младшего брата, отца чуть не выгнали из «Комсомолки», но за

него встал горой главный редактор Тарас Костров, и от журналиста — брата осужденного — отцепились. Костров ушел рано — убил его туберкулез.

А вот как выжил мой отец в 1938-м, когда корреспондентов газеты стали брать одного за другим? Вспоминал, что арестованных начальников всегда вывозили с шестого этажа на главном, издательском лифте. Если на издательском, то навсегда, на расстрел. Если на дальнем, комсомольско-правдинском, значит, могло и повезти: тюрьма или ссылка. Ерунда вроде бы, но всегда почему-то сбывалось. После спуска на комсомольско-правдинском лифте некоторые через несколько лет возвращались и даже снова принимались в редакцию, как, например, проживший долгую жизнь Евгений Рябчиков, открывший стране пограничника Карацупу и его верного пса Ингуса, совместно отловивших несколько сотен нарушителей границы. Или ходил к нам домой милейший человек, чей репрессированный отец, журналист «КП» Святозар Бабушкин, отработал на лесоповале, выжил, был освобожден, но погиб на корабле: при погрузке связка здоровенных бревен рухнула на маленькую группу возвращавшихся ссыльных.

Об арестованных в редакции не говорили ни хорошо, ни плохо. Воспринимали как неизбежность и даже смутно верили в подспудную вину товарищей. До чего же убийственное было время! Жалели только генерального секретаря комсомола Косарева. Считали: уж его-то, вроде бы любимца, а может, и наследника Сталина, пронесет. И когда 28 ноября 1938-го все-таки не пронесло, поняли: очередь за ними. Ведь арестовывал сам Берия.

Однажды утреннее появление в редакции отца вызвало шок: «Миша, ведь тебя должны были взять еще вчера. Приказали стол опечатать». Так и проработал несколько недель под испуганными взглядами в опустевшем кабинете — в мое время там был отдел новостей, — не решаясь сорвать пломбы. Народ в редакции ежился, общался неохотно.

Бесстрашно вел себя только ближайший друг, знаменитый репортер Миша Розенфельд: вечерами, как и прежде, они с отцом не пропускали ни единой премьеры. И даже подарил в те дни папе и его тогдашней жене свою книгу о

полярниках «Ледяные ночи» с откровенным: «Миху и Надежде с пожеланием горячих ночей от того, кому остались только ночи ледяные». Все остальные ждали неминуемого. Потому что знали о товарищеских отношениях Мих. Долгополова с генеральным комсомольским секретарем товарищем Александром Косаревым.

Несколько раз Косарев просил организовать концерты для комсомольцев — делегатов съездов, конференций. Отец никогда не отказывал, созывал знаменитостей и сам выступал в роли конферансье в дуэте с Григорием Яроном или Владимиром Хенкиным — гремевшими в ту пору актерами. Был случай, вел с ним концерт и сам Косарев. Даже объявил отцу благодарность.

Все-таки, может, и благодаря Косареву, порой жутко ругавшему своих журналистов, однако твердо за каждого заподозренного стоявшего, чистки и аресты коснулись «Комсомолки» позже остальных, уже в 1938-м, когда волна безжалостных расстрелов чуть спала.

Возможно, отца спасла его профессиональная увлеченность. Не старался пробиться в начальники: я за всю свою полувековую журналистскую жизнь не встречал человека, который бы так гордился должностью специального корреспондента. Да и писал он не о политике, а всегда об искусстве.

И тут он знал всех: Станиславский, Немирович-Данченко, Горький, Качалов, Москвин, Мейерхольд... «Комсомолка» по части культуры «вставляла фитиль», как тогда говорили, остальным. А уж балет, оперетта, цирк были совсем родными и близкими. Может, решили не трогать чужака-журналиста, который был знаком со всеми поголовно и которого, в свою очередь, безоговорочно признавала вся театральная Москва?

Отзвуки этого признания успел захватить и я. Мы с отцом как по маслу проходили на премьеры всех театров, демонстративно не показывая пропуска в ложу дирекции. По билетам папа, наверное, ходил в последний раз где-то до революции. Седовласый, высокий — 192 сантиметра, всегда очень хорошо и аккуратно одетый, в начищенных мною до блеска остроносых ботинках, он небрежно кивал администратору на меня и маму: «Это со мной!» Люди

знали: идет Мих! И, раздевшись всегда в директорском кабинете, мы, вернее отец, попадали в окружение главрежа, артистов, знаменитостей. Наперебой начинались разговоры, сплетни, рассказы... Только записывай. И папа открывал свою синенькую пухленькую записную книжечку и записывал, записывал неровным, неразборчивым почерком.

Лишь раз на моей памяти нас не пропустили вот так, сразу — в «Ромэн», обитавший в ту пору еще рядом с Пушкинской напротив Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Цыгане проявили излишнюю бдительность. Отец был искренне и без всякой рисовки поражен: «Разве вы меня не знаете?» В антракте к нам чуть не подбежал расстроенный художественный руководитель театра Михаил Сидоркин: «Вы уж простите, Михаил Николаевич, моего администратора. Только приступил». Отец ответил, как обычно, корректно, но даже не улыбнулся: «Ничего страшного. Но теперь — пусть знает».

Оборвав военную карьеру и демобилизовавшись из армии, папа пошел в кино. Снимался в массовках, сыграл несколько ролей и даже одну главную. Кино нужны были интеллигентные молодые люди. Он лихо гарцевал на лошадях, которых любил до конца жизни, галантно целовал, становясь на одно колено, руки киношным красоткам, курил сигары и пил шампанское из бокалов на высоких ножках. Образ абсолютно не соответствовал реальному облику: ненавидел табак и если пил, то лишь изредка — красное сухое.

Что касается красоток разных возрастов и профессий, то в кино все было правильно, они до конца его дней отвечали ему взаимностью, и это несказанно огорчало маму, гораздо папы моложе, из простой семьи, мужа, несмотря ни на что, боготворившую. Я путался в симпатичных женских лицах и на всю жизнь запомнившихся фамилиях. Знаменитая дама — дирижер, народные балерина и драматическая актриса-орденоносец, молодая красавица — кинорежиссер, какая-то неведомо как к нам залетевшая и почему-то несколько подзадержавшаяся артистка из Франции, в конце жизни — здоровеннейшая модельерша-гренадер — прямо в лейб-гвардию...

Немного о Маяковском и Булгакове

Бывший директор бывшего музея Маяковского рассказывал мне: «Однажды к нам пожаловали известнейший советский поэт и ваш папа. И вся разница между ними была в том, что поэт Владимира Владимировича читал, ваш отец — знал».

Чистая правда. Чуть не с первого дня работы в «Комсомолке» Миха Долгополова «прикрепили» к Владимиру Владимировичу. Это означало, что новичку доверяли общаться с постоянным автором и даже корреспондентом «Комсомольской правды» Маяковским.

Отец волновался. Только взяли в штат, и сразу — к Маяковскому. Неожиданно сошлись. Довольно разборчивый, порой капризный в общении, Маяковский отца принял. Наверное, было в них нечто общее и кроме высокого роста. Может, происхождение.

Пишу все со слов отца и цитирую по его книги «Звездное ожерелье». Когда поэт чувствовал себя неважно и не мог прийти в редакцию, сразу же звонил, предупреждал. Волновался, нет ли для него чего срочного. Бывало, просил принести пришедшие в его адрес письма, взять новое стихотворение. И отец, бросив все дела, не было ничего важнее общения с Маяковским, спешил в приют агитатора, горлана-главаря. От редакции, находившейся тогда в самом центре, до ставшей знаменитой комнаты-лодочки ходьбы максимум минут пять. «Комната крошечная, трудно было представить, как огромный Маяковский в ней умещался. Зайдешь на минутку по его звонку, непременно усадит, предложит чаю, бутерброд. Расспросит, что нового в театрах. Что готовит Госкино и "Межрабпомфильм"», — писал отец.

Мих брал стихи, отдавал в машбюро. А потом, когда строки-лесенки были напечатаны и сверстаны, доставлял их поэту. Маяковский — автор строгий. Вычитывал дотошно, иногда вносил правку. И только тогда — в печать.

Первым делом после прихода в редакцию на Лубянском проезде В. В. отправлялся в отдел писем. Там для него был устроен персональный ящик, который никогда не пустовал. Прочитывал все письма. Некоторые сразу выбрасы-

вал. На другие отвечал. Самые для себя ценные, в которых могли содержаться и темы для новых стихов, сразу же откладывал. Что-то записывал в блокнот.

Редакция занимала половину третьего этажа: направо по длинному коридору — «Комсомолка», налево — газета «Беднота». Маяковский любил вышагивать по коридору с толстой тростью, крючком зацепленной на согнутой левой руке. И, отец знал точно, его, сосредоточенного, в такие моменты обычно нахмуренного, лучше было не тревожить. Особенно когда доставал из широченных штанов блокнот — «не первой свежести», как шутили некоторые остряки, Маяковского не принимавшие. И добавляли: «Как и стихи». А что, вы думали, будто поэта любили все поголовно?

В углу рта появлялась папираса. Обычно приветливый и первым здоровавшийся, в минуты вдохновения никого не замечал, казался полностью отрешенным, погружался в рифмы. Несколько раз журналисты, в такой момент к нему подходившие, нарывались на язвительные замечания, даже грубость. Быстро все поняли, вопросами Владимиру Владимировичу не докучали.

А потом стихи ложились на стол Иосифу Уткину. Редакция публиковала их под постоянными рубриками — «“Комсомольская правда” помогла» или «По следам наших выступлений». Часто поэт советовался с ответственным секретарем Михаилом Ивановичем Чаровым. Беседы продолжались минут по пятнадцать. Если Маяковский шел к Михаилу Ивановичу, это значило, что у него возникали некоторые сомнения: публиковать или не публиковать, да и нужна ли тема? Выйдя от ответсека, Владимир Владимирович сообщал о совместном решении.

Папины рассказы о Маяковском часто отличались от общепринятых.

В день выдачи гонорара, отец утверждал: всегда и всем одинаково скромного, Владимир Владимирович обязательно появлялся в редакции. И сразу — в бухгалтерию. Там его ждали с некоторым трепетом. Мог получить и даже поблагодарить. А мог и обидеться: считал — недоплатили. В бухгалтерии никак не хотели понять, почему надо платить Маяковскому за каждую его строчку-лесен-

ку столько же, сколько, к примеру, за стихотворения Уткина или Светлова, написанные традиционным четырехстишием. И время от времени возникал конфликт. Поэт шел к ответственному секретарю. Тот приказывал пересчитать строки. И в следующий раз гонорар выплачивался полностью. Но иногда снова следовало непонимание, и тогда начиналось...

Отец постеснялся написать об этом в мемуарах, но мне говорил, что Владимир Владимирович втолковывал комсомольско-правдинскому молодняку: не надо быть рвачом, а за свое надо биться, и без стеснения. Заработал — значит твое. Папа эту истину усвоил. По наследству это понимание передалось и мне.

«Свои стихи Маяковский обычно диктовал только одной машинистке В., — писал отец в своей книге. — Она была большой ценительницей поэзии, первой читательницей его стихов. Ее мнение и вкусы были для Владимира Владимировича своеобразным оселком, на котором он оттачивал свое перо. Если машинистка скажет: "Что-то здесь непонятное у вас, Владимир Владимирович, нехорошо звучит, надо проще, яснее"... — Маяковский надолго задумывался... Сам выкручивал из валика машинки продиктованный лист и начинал расхаживать по длинному коридору редакции. Доделывал, исправлял стихи огрызком мягкого карандаша. И снова возвращался в машбюро. Диктовал, вопросительно поглядывая на В.»

Наверное, судьба, что застал В. в редакции и я. Заскакивал в машбюро, бросал от руки написанные материалы в огромную папку на столе, а напечатанные забирал из окошечка с надписью «спорт». Как-то позвонила старшая машинистка: «Забегай к нам. Ну у тебя и почерк». Забежал и был препровожден во вторую дальнюю комнату, где сидела в уголке очень пожилая, уставшая женщина. Сняв широленные разношенные ботинки, ставила распухшие ноги на скамеечку. Всегда была в старческих чулках выцветшего белесого цвета. Внешний облик никак не вязался с поразительной грамотностью и интеллигентностью. Я только начинал в «Комсомолке», и старушка извинилась, что еще не приспособилась, как она деликатно выразилась, «к моей манере письма». Попросила продиктовать ей не-

сколько не разобранных предложений, напечатала в конце статьи подпись «Н. Долгополов» и поинтересовалась: «Вы не родственник Мих. Долгополова?» С гордостью признался: «Сын». На что получил: «Почерк неразборчивый, как у отца. Если нетрудно, передайте от меня привет папе». Передал, и отец удивился: «Неужели она до сих пор работает? Думал, что я последний».

В юбилейный майский вечер 1975 года, когда «Комсомолка» шумно отмечала 50-летие, в наш Голубой зал пригласили ветеранов. Пришел и отец. С любопытством прошелся по шестому этажу. Почему-то попросил показать ему машбюро. Их встреча с В. выглядела по-старинному церемонной и трогательной. Отец поцеловал ей руку. Такого знака с его стороны удостаивались немногие представительницы прекрасного пола. Она вдруг погладила его по седой голове. Пара фраз — и навсегда расстались.

Поздним вечером, уже дома, отец заглянул в мою комнату. Вдруг вырвалась редкая откровенность: «Учись у В. Она получше любого редактора. Правила даже Маяковского. И до чего была хороша». Присел на мою кровать, задумался: говорить — не говорить, и вдруг полилось: «В. несколько лет была близка с Маяковским. Ему бы с ней, а не с этими Лилями и Бриками».

Может, пахнуло и русофильством, но раз уж вырвалось: «Эта парочка (Лиля и Осип Брик. — Н. Д.) Владимира Владимировича сгубила. Дьяволица (Лиля. — Н. Д.) прямо к себе привязала. Ну да, был он разочарован: в стране все пошло не так. Стали его замалчивать. И у нас (в «Комсомолке». — Н. Д.) некоторые от поэзии далекие тоже зашевелились. Конечно, надежды на коммунизм — блеф, тонкая душа, нервы. Постоянная травля. Жил с женой Яншина (будущего народного артиста СССР. — Н. Д.), а любил эту (Лилю. — Н. Д.). И они с Осипом все из Маяковского высосали. Какая там у нее любовь. Одно было нужно — деньги. Лиля умна, хитра, а Осип шел напролом. Довели человека. Оставалось только стреляться».

Уже перед уходом, когда папа часто лежал по больницам, рассказывал мне всякие истории. Фигурировала в них и Лиля. Как-то попал в богемную компанию, и в центре гостиней предстала пред всеми сидящая в кресле Лиля —

обнаженная. Никаких оргий — любование собственным телом и эксцентричность. Отец был немного циником, но нагота обидела, он сразу ушел не попрощавшись.

Однажды на какой-то премьере в Центральном доме работников искусств или Доме кино, что был еще на улице Воровского, вежливо поздоровалась с нами немолодая, со вкусом одетая дама. Отец ответил сухим кивком и утащил нас с мамой подальше. Сам учил: если приветствуют тебя люди даже малознакомые или те, кого не знаешь, надо обязательно отвечать. Приветствуют тебя — проявляют уважение, отвечай тем же и ты. А тут! Моя мама вздохнула: «Папа считает бедную Лию чуть не убийцей Маяковского. Но можно же быть чуть деликатнее».

А я был уверен, что Лиля Брик сгинула в репрессиях 1930-х. Но нет. Правда или легенда, но, когда брали всех без разбора, пришел черед и Лили Брик. Но Сталин приказал кровавому наркому Ежову: «Жену Маяковского — не трогать».

Лиля Брик умерла в 1978-м, Осип — в 1945-м. Маяковский 1893 года рождения застрелился в комнате-лодочке в 1930-м. В 36 лет из «Комсомольской правды» ушел прекрасный корреспондент, из мировой поэзии — большой поэт.

И знаете, что раздражает? В 1990-е в адрес Маяковского вновь понеслась хула. Взяли и переименовали площадь с его памятником из Маяковской в Триумфальную. Зачем? С какого? Уж чем нам не угодил Владимир Владимирович?

Теперь о другом великом.

На полном серьезе мне рассказывали байки о похождениях отца и Михаила Булгакова. А потом все эти рассказы пошли гулять по толстым журналам, в конце концов перекочевав и в «желтые» листочки. Да, случались между ними и трудные разговоры о том, что «пропустят», а что «не пойдет». Булгаков был не то чтобы оптимистом, но верил в силу искусства. Если уж пьеса принята в театре, какой смысл что-то коверкать, исправлять, запрещать. Хотя всегда, как говорил папа, ждал он именно в последнюю минуту подвоха, запрета, приказа о переделке одной из сюжетных линий, смягчении реплик, на чей-то взгляд чересчур смелых.

Более близкий к советской действительности, точнее к ее социалистическому реализму, отец был в душе немножко соглашателем. Уговаривал на требования идти, не особенно показываясь на глаза высшему начальству, считая переписку Булгакова с советским царем и богом если и престижной, то бесполезной.

Он и мне втолковывал, будто «Миша не понимал, что ради спасения спектакля, творческого замысла можно и нужно идти на уступки».

Тут, на мой взгляд, была еще одна сложнейшая заковырка. Отец тащил на себе все многочисленное семейство: братья и сестра — лишенцы, больная мама, старушка-служанка Василиса, так и оставшаяся в семье еще с дореволюционных времен. Да еще и жена: Надя вынуждена была уйти из Большого театра, и отец писал о ней в анкетах: безработная балерина.

Это я к тому, что каждая если не копейка, то рубль, дававшийся ему с боем, был на счету. А Булгаков, как искренне полагал папа, чудил. Отказывался ради собственного его и высочайших убеждений от больших заработков. По мнению отца, принципы эти были никак не применимы в ту эпоху, которая на их нелегкое время выпала.

Здесь видятся мне непримиримые противоречия великого творца с позицией осведомленного, добросовестного, однако побитого жизнью и собственной неудачной для той поры биографией журналиста. А Булгаков был и остался гением советской и постсоветской драматургии, литературы именно потому, что поднимался выше сиюминутного, запретного, подцензурного. Он смотрел и видел гораздо дальше. Широчайший его горизонт был никак не сопоставим с неким журналистским, профессиональным заданным, даканьем. Если правильно понимаю, то это искреннее двустороннее непонимание и послужило причиной не разрыва, не ссоры, а некоего охлаждения отношений.

Разговоры о высоком сводились теперь к минимуму, хотя они по-прежнему могли вместе провести время в обществе милых дам. Тут некоторые авторы, опубликовавшие свои опусы, перебарщивают в подробностях. Откуда они их только берут?

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru